

**ВЛАДИМИР
МАЯКОВСКИЙ**

ПОСЛУШАЙТЕ!
(СБОРНИК)

Владимир Владимирович Маяковский

Послушайте! (сборник)

Серия «Классика в школе (Эксмо)»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7210662

Послушайте!: стихотворения, поэмы, пьесы / Владимир Маяковский:

Эксмо; Москва; 2014

ISBN 978-5-699-70987-8

Аннотация

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены стихотворения, поэмы и пьесы В. В. Маяковского, которые изучают в средней школе и старших классах.

Содержание

Стихотворения и поэмы	5
А вы могли бы?	5
Адище города	6
Нате!	7
Послушайте!	8
Скрипка и немножко нервно	10
Облако в штанах	12
Флейта-позвоночник	44
России	58
Лиличка!	60
Хорошее отношение к лошадям	63
Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче	66
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Владимир Маяковский Послушайте! (сборник)

*** * ***

Стихотворения и поэмы

А вы могли бы?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

(1913)

Адище города

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки,

А там, под вывеской, где сельди из Керчи, —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечерующем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже – скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

Нате!

Через час отсюда в чистый переулочек
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулочек,
я – бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озверевает, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется – и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я – бесценных слов транжир и мот.

Послушайте!

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?

Значит – кто-то хочет, чтобы они
были?

Значит – кто-то называет эти
плевóчки

жемчужиной?

И, надрываясь

в метелях полуденной пыли,

врывается к богу,

боится, что опоздал,

плачет,

целует ему жилистую руку,

просит —

чтоб обязательно была звезда! —

клянется —

не перенесет эту беззвездную муку!

А после

ходит тревожный,

но спокойный наружно.

Говорит кому-то:

«Ведь теперь тебе ничего?

Не страшно?

Да?!»

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?

Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1914

Скрипка и немножко нервно

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —

я встал,
шатаясь полз через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:

«Боже!»

Бросился на деревянную шею:

«Знаете что, скрипка?

Мы ужасно похожи:

я вот тоже

ору —

а доказать ничего не умею!»

Музыканты смеются:

«Влип как!

Пришел к деревянной невесте!

Голова!»

А мне — наплевать!

Я — хороший.

«Знаете что, скрипка?

Давайте —

будем жить вместе!

А?»

1914

Облако в штанах

Тетраптих

Второму изданию¹

«Облако в штанах» (первое имя «Тринадцатый апостол» зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся.) считаю катехизисом сегодняшнего искусства.

«Долой *вашу* любовь», «долой *ваше* искусство», «долой *ваш* строй», «долой *вашу* религию» – четыре крика четырех частей.

Долг мой восстановить и обнародовать эту искаженную и обезжаленную дореволюционной цензурой книгу.

[1918]

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выживевший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;

¹ Это предисловие было помещено во втором издании поэмы «Облако в штанах», вышедшем в феврале 1918 года в Москве.

досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огрбмив мощью голоса,
иду – красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!

Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный
– и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а – облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!

Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.
«Приду в четыре», – сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрь.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина

стонет,
корчится,
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце – холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,

обрызганный громом городского приboя.

Полночь, с ножом мечась,
догна́ла,
зарезала, —
вон его!

Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождейки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.

И вот, —
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,

четкий.

Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, —
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».

Что ж, выходите.

Ничего.
Покреплюсь.
Видите – спокоен как!
Как пульс
покойника.
Помните?
Вы говорили:

«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», —
а я одно видел:
вы – Джиоконда,
которую надо украсть!
И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!
Дразните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразили Везувий!

Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боев, —
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?

И чувствую —
«я»
для меня малю.
Кто-то из меня вырывается упрямо.

Алло!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,

которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают —

запахло жареным!

Нагнали каких-то.

Блестящие!

В касках!

Нельзя сапожища!

Скажите пожарным:

на сердце горящее лезут в ласках.

Я сам.

Глаза наслезнённые бочками выкачу.

Дайте о ребра опереться.

Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!

Рухнули.

Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем

из трещины губ

обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!

Петь не могу.

У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел

из черепа,

как дети из горящего здания.

Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».

Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, —
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

2

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil»².

Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Я раньше думал —

² «Ничто» (лат.).

книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!

А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.

Пока выкипчивают, рифмами пиликаая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.
Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.

Улица му́ку молча пёрла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi³ и костлявые пролетки.
Грудь испешеходили.

³ Такси (фр.).

Чахотки плоче.

Город дорогу мраком запер.

И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хбрах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»

Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщ,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея —
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется – «борщ».

Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
«Как двумя такими выпеть
и барышню,

и любовь,
и цветочек под росами?»
А за поэтами —
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.

Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории.
Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном

паркетe!

Я знаю —

гвоздь у меня в сапоге

кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,

златоустейший,

чье каждое слово

душу новородит,

именинит тело,

говорю вам:

мельчайшая пылинка живого

ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!

Проповедует,

мечась и стена,

сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!

Мы

с лицом, как заспанная простыня,

с губами, обвисшими, как люстра,

мы,

каторжане города-лепрозория,

где золото и грязь изъязвили проказу, —

мы чище венецианского лазорья,

морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет

у Гомеров и Овидиев

людей, как мы,
от копоты в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы – молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»

Но мне —
люди,
и те, что обидели —
вы мне всего дороже и ближе.
Видели,
как собака бьющую руку лижет?!

Я,

обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрёзный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас – его предтеча;
я – где боль, везде;
на каждой капле слёзовой течи
распял себя на кресте.

Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —

и окровавленную дам, как знамя.

3

Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!

Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.

И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.

Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке,

взял и сказал:

«Хорошо!»

Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!

Хорошо,

когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:

«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,

бенгальскую,

громкую,

я ни на что б не выменял,

я ни на...

А из сигарного дыма

ликерною рюмкой

вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Как вы смеее называться поэтом

и, серенький, чирикать, как перепел!

Сегодня

надо

кастетом

кроиться миру в черепе!

Вы,

обеспокоенные мыслью одной —

«изящно пляшу ли», —
смотрите, как развлекаюсь
я —
площадной
сутенер и карточный шулер!

От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещины
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»

Вдруг
и тучи

и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.

Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкал,
и небе лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.

И кто-то,
запутавшись в облачных путах,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!
Идите, голодненькие,
потненькие,

покорненькие,
закившие в блохастом грязненьке!
Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!

Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!
Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат,

Уже сумасшествие.

Ничего не будет.

Ночь придет,
перекусит
и съест.

Видите —
небо опять иудит
пригоршню обрызганных предательством звезд?

Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насеив.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу – глаза круглы, —
глазами в сердце въелась богоматерь.

Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь – опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?

Может быть, нарочно я
в человечьем месиве

лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.

Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должны подрасти,
мальчики – отцы,
девочки – забеременели.

И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном евангелии
тринадцатый апостол.

И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает

моей души незабудки.

4

Мария! Мария! Мария!

Пусти, Мария!

Я не могу на улицах!

Не хочешь?

Ждешь,

как щеки провалятся ямкою,

попробованный всеми,

пресный,

я приду

и беззубо прошамкаю,

что сегодня я

«удивительно честный».

Мария,

видишь —

я уже начал сутулиться.

В улицах

люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,

высунут глазки,

потертые в сорокгодовой таске, —

перехихикиваться,

что у меня в зубах
— опять! —
черствая булка вчерашней ласки.

Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах —
да! —
на ресницах морозных сосуллек
слезы из глаз —
да! —
из опущенных глаз водосточных труб.
Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет:
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.

Мария!

Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,

а я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку
Пресни.

Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь – натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят, —
это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей

и миллион миллионов маленьких грязных любят.

Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц, —
«любящие Маяковского!» —
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.

Мария!

Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твоё просто прошу,
как просят христиане —
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».

Мария – дай!

Мария!

Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.

Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.

Мария —
не хочешь?
Не хочешь!

Ха!

Значит – опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру

несет
перееханную поездом лапу.

Кровью сердца дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.
И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.

Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бок,
наклонюсь
и скажу ему на ухо:

– Послушайте, господин бог!

Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте – знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,

чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.

А в рае опять поселим Евочек:

прикажи, —

сегодня ночью ж

со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.

Хочешь?

Не хочешь?

Мотаешь головою, кудластый?

Супишь седую бровь?

Ты думаешь —

этот,

за тобою, крыластый,

знает, что такое любовь?

Я тоже ангел, я был им —

сахарным барашком выглядывал в глаз,

но больше не хочу дарить кобылам

из севрской мўки изваянных ваз.

Всемогущий, ты выдумал пару рук,

сделал,

что у каждого есть голова, —

отчего ты не выдумал,

чтоб было без мук

целовать, целовать, целовать?!

Я думал – ты всеильный божище,

а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!

Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,
положив на лапу

с клещами звезд огромное ухо.

1915

Флейта-позвоночник

Пролог

За всех вас,
которые нравились или нравятся,
хранимых иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравнице,
подъемлю стихами наполненный череп.

Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт.

Память!
Собери у мозга в зале
любимых неисчерпаемые очереди.
Смех из глаз в глаза лей.
Былыми свадьбами ночь ряди.
Из тела в тело веселье лейте.
Пусть не забудется ночь никем.
Я сегодня буду играть на флейте.

На собственном позвоночнике.

1

Вёрсты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!
Буре веселья улицы узки.
Праздник нарядных черпал и черпал.
Думаю.
Мысли, крови сгустки,
больные и запекшиеся, лезут из черепа.

Мне,
чудотворцу всего, что празднично,
самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь
и голову вымозжу каменным Невским!
Вот я богохулил.
Орал, что бога нет,
а бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел:
люби!

Бог доволен.

Под небом в круче
измученный человек одичал и вымер.

Бог потирает ладони ручек.

Думает бог:

погоди, Владимир!

Это ему, ему же,

чтоб не догадался, кто ты,

выдумалось дать тебе настоящего мужа

и на рояль положить человечьи ноты.

Если вдруг подкрасться к двери спальной,

перекрестить над вами стёганье одеялово,

знаю —

запахнет шерстью паленной,

и серой издымится мясо дьявола.

А я вместо этого до утра раннего

в ужасе, что тебя любить увели,

метался

и крики в строчки выгранивал,

уже наполовину сумасшедший ювелир.

В карты б играть!

В вино

выполоскать горло сердцу изоханному.

Не надо тебя!

Не хочу!

Все равно

я знаю,
я скоро сдохну.

Если правда, что есть ты,
боже,
боже мой,
если звезд ковер тобою выткан,
если этой боли,
ежедневно множимой,
тобой ниспослана, господи, пытка,
судейскую цепь надень.
Жди моего визита.
Я аккуратный,
не замедлю ни на день.
Слушай,
Всевышний инквизитор!

Рот зажму.
Крик ни один им
не выпущу из искусанных губ я.
Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.
Или вот что:
когда душа моя выселится,
выйдет на суд твой,
выхмурясь тупенько,
ты,
Млечный Путь перекинув виселицей,

возьми и вздерни меня, преступника.
Делай, что хочешь.
Хочешь, четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только —
слышишь! —
убери проклятую ту,
которую сделал моей любимой!

Вёрсты улиц взмахами шагов мну.
Куда я денусь, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

2

И небо,
в дымах забывшее, что голубó,
и тучи, ободранные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.

Радостью покрою рев
скопа
забывших о доме и уюте.

Люди,
слушайте!
Вылезьте из окопов.
После довоюете.

Даже если,
от крови качающийся, как Бахус,
пьяный бой идет —
слова любви и тогда не ветхи.
Милые немцы!
Я знаю,
на губах у вас
гётевская Гретхен.

Француз,
улыбаясь, на штыке мрет,
с улыбкой разбивается подстреленный авиатор,
если вспомнят
в поцелуе рот
твой, Травиата.

Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!
Тебя пою,
накрашенную,
рыжую.

Может быть, от дней этих,

жутких, как штыков остря,
когда столетия выбелят бороду,
останемся только
ты
и я,
бросающийся за тобой от города к городу.

Будешь за море отдана,
спрячешься у ночи в норе —
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона
огненные губы фонарей.

В зное пустыни вытянешь караваны,
где львы начеку, —
тебе
под пылью, ветром рваной,
положу Сахарой горящую щеку.

Улыбку в губы вложишь,
смотришь —
тореадор хорош как!
И вдруг я
ревность метну в ложи
мрущим глазом быка.

Вынесешь на мост шаг рассеянный —
думать,
хорошо внизу бы.
Это я

под мостом разлился Сеной,
зову,
скалю гнилые зубы.

С другим зажгешь в огне рысаков
Стрелку или Сокольников.
Это я, взобравшись туда высоко,
луной томлю, ждущий и голенький.

Сильный,
понадоблюсь им я —
велят:
себя на войне убей!
Последним будет
твое имя,
запекшееся на выдранной ядром губе.

Короной кончу?
Святой Еленой?
Буре жизни оседлав валы,
я – равный кандидат
и на царя вселенной
и на
кандалы.

Быть царем назначено мне —
твое личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:

вычекань!

А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, —
на цепь нацарапаю имя Лирино
и цепь исцелую во мраке каторги.

Слушайте ж, забывшие, что небо голубо́,
выщетинившиеся,
звери точно!
Это, может быть,
последняя в мире любовь
вызарила́сь румянцем чахоточного.

3

Забуду год, день, число.
Запрусь одинокий с листом бумаги я,
Твори́сь, просветленных страданием слов
нечеловечья магия!

Сегодня, только вошел к вам,
почувствовал —
в доме неладно.

Ты что-то таила в шелковом платье,
и ширился в воздухе запах ладана.

Рада?

Холодное

«очень».

Смятеньем разбита разума ограда.

Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Послушай,

все равно

не спрячешь трупа.

Страшное слово на голову лавь.

Все равно

твой каждый мускул

как в рупор

трубит:

умерла, умерла, умерла!

Нет,

ответь.

Не лги!

(Как я такой уйду назад?)

Ямами двух могил

вырылись в лице твоём глаза.

Могилы глубятся.

Нету дна там.

Кажется,

рухну с помоста дней.

Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней.

Знаю,
любовь его износила уже.
Скуку угадываю по стольким признакам.
Вымолоди себя в моей душе.
Празднику тела сердце вызнакомь.

Знаю,
каждый за женщину платит.
Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака.

Любовь мою,
как апостол во время оно,
по тысяче тысяч разнесу дорог.
Тебе в веках уготована корона,
а в короне слова мои —
радугой судорог.

Как слоны стопудовыми играми
завершали победу Пиррову,
я поступись гения мозг твой выгромил.
Напрасно.
Тебя не вырву.

Радуйся,
радуйся,
ты доконала!
Теперь
такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.

Губы дала.
Как ты груба ими.
Прикоснулся и остыл.
Будто целую покаянными губами
в холодных скалах высеченный
монастырь.

Захлопали
двери.
Вошел он,
весельем улиц орошен.
Я
как надвое раскололся в вопле.
Крикнул ему:
«Хорошо,
уйду,
хорошо!
Твоя останется.
Тряпок нашёй ей,
робкие крылья в шелках зажирели б.
Смотри, не уплыла б.

Камнем на шее
навесь жене жемчуга ожерелий!»

Ох, эта
ночь!
Отчаянье стягивал туже и туже сам.
От плача моего и хохота
морда комнаты выкосилась ужасом.

И видением вставал унесенный от тебя
лик,
глазами вызарила ты на ковре его,
будто вымечтал какой-то новый Бялик
ослепительную царицу Сиона евреева.

В муке
перед той, которую отдал,
коленопреклоненный выник.
Король Альберт,
все города
отдавший,
рядом со мной задаренный именинник.

Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы!
Весеньтесь, жизни всех стихий!
Я хочу одной отравы —
пить и пить стихи.

Сердце обокравшая,

всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.

В праздник красьте сегодняшнее число.
Творишь,
распятью равная магия.
Видите —
гвоздями слов
прибит к бумаге я.

1915

России

Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.
Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина,
вижу —
выжжена южная жизнь.
Остров зноя.
В пальмы овазился.
«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.
Иные жмутся —
уйти б,
не кусается ль? —
Иные изогнуты в низкую лесть.
«Мама,
а мама,

несет он яйца?» —
«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».
Ржут этажия.
Улицы пелятся.
Обдают водой холода.
Весь истыканный в дымы и в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декаблей.

1916

Лиличка!

(Вместо письма)

Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде⁴.

Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, иступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.

⁴ Имеется в виду поэма А. Крученых и В. Хлебникова «Игра в аду».

Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.

Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике вырветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом умóрят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.

Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,

а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.

Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?
Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

26 мая 1916 г. Петроград

Хорошее отношение к лошадям

Били копыта.

Пели будто:

– Гриб.

Грабь.

Гроб.

Груб. —

Ветром опита,

льдом обута,

улица скользила.

Лошадь на круп

грохнулась,

и сразу

за зевакой зевака,

штаны пришедшие Кузнецким клёшить,

сгрудились,

смех зазвенел и зазвякал:

– Лошадь упала! —

– Упала лошадь! —

Смеялся Кузнецкий.

Лишь один я

голос свой не вмешивал в вой ему.

Подошел

и вижу

глаза лошадиные...
Улица опрокинулась,
течет по-своему...

Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в шерсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть,
и мысль ей моя казалась пошла,
только
лошадь
рванулась,
встала на́ ноги,
ржанула

и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.

Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

1918

**Необычайное приключение,
бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче**
*(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева,
27 верст по Ярославской жел. дор.)*

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить

вставало солнце áло,
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.

И так однажды разозлясь
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»

Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут – не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»

Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»

Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,

шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведа,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чай гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему, —
skonфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь – не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь

струилась, —
и степенность
забыв,
сизу, разговорясь
с светилом постепенно.

Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!

А мне, ты думаешь,
светить
легко?

— Поди, попробуй! —

А вот идешь —
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.